

ПОСТСОВЕТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: НАБРОСКИ К ТЕОРИИ

Принято считать, что наиболее продуктивное осмысление политических процессов в конкретных обществах, странах и регионах рождается на пересечении двух отраслей знаний о политике – сравнительной политологии и страноведения (area studies). Взаимодействие этих отраслей в изучении советской и постсоветской политики развивалось непросто. В 1960-80-е годы советологи во многом заимствовали подходы, разработанные компаративистами (см. Almond, 1990). В середине 1990-х годов проблема совместимости претендующих на универсальность концепций и посткоммунистической реальности стала предметом острой полемики (см. Schmitter and Karl, 1994, 1995, Bunce, 1995a, 1995b). К 2000 году эти дебаты как будто бы исчерпаны: анализ постсоветской политики в сравнительной перспективе становится основным направлением исследований. Изучение отдельных аспектов политического развития России и других стран пост-СССР в рамках корпуса теорий сравнительной политологии – идет ли речь о федерализме (Stepan, 2000), партийной системе (Голосов, 1999) или электоральном поведении (Colton, 2000) – открывает перед исследователями немало познавательных возможностей. Иначе обстоит дело, однако, при попытках анализа трансформации политического режима в постсоветских обществах, когда общепризнанные модели демократизации проявляют свою неполноту и недостаточность. Попытки обойтись при описании постсоветской политики категориями типа «гибридный режим» (см. Гельман, 1999, Мельвиль, 1999) или использовать термины типа «делегативная демократия» (O'Donnell, 1994) и т.п., обозначаемые как «демократии с прилагательными» (Collier and Levitsky, 1997), мало что добавляют к констатации того факта, что Россия и другие постсоветские общества находятся по ту сторону общепринятых представлений о «переходах к демократии» (см. Solnick, 1999). Наиболее выразительным свидетельством кризиса теоретических подходов к анализу постсоветской трансформации стало проведение осенью 1999 года на ежегодной конференции Американской ассоциации политических наук круглого стола под названием «Россия как сравнительный случай... чего?» («Russia as a Comparative Case ... of What?»).

Такая постановка вопроса заставляет вернуться к классификации исследований случаев, предложенной Арендом Лейпхартом (Lijphart, 1971: 691-692). Лейпхарт, критически оценивая атеоретические и интерпретативные исследования, рассматривал также не только исследования случаев, подтверждающие либо опровергающие существующие теории, но и изучение случаев, «генерирующее гипотезы» (hypotheses-generating) и, как отдельный вариант, изучение отклоняющихся случаев. Последние два способа задания дизайна исследований позволяют исследователям не только сделать выводы о факторах, ответственных за специфику данных случаев, но и перейти от простого тестирования существующих теорий к построению новых. Такой подход позволяет не только выйти из познавательного тупика бесплодных разговоров на тему «умом Россию не понять» (это ведь – смотря чьим умом!), но и сделать шаг в развитии «исследовательского цикла» (Skocpol and Somers, 1980) изучения постсоветской политики.

Понятно, что решение этой задачи выходит за рамки отдельно взятого текста: оно

требует усилий всего международного научного сообщества. Настоящая работа ставит целями лишь постановку некоторых вопросов, связанных с концепциями демократии и демократизации, и поиски ответов на них в свете опыта политического развития стран пост-СССР. Для этого в статье: 1) рассматриваются познавательные перспективы моделей демократии в постсоветском обществе; 2) анализируются объяснительные возможности различных подходов в изучении демократизации; 3) формулируются специфические характеристики процесса трансформации политических режимов в пост-СССР; 4) выдвигаются некоторые суждения о том, как (и отчасти, почему) происходит становление политической конкуренции и политических институтов в пост-СССР; 5) намечаются отдельные соображения к исследовательской повестке дня.

Переопределяя понятия: демократия и политический режим

Как это ни парадоксально, но тридцатилетний опыт изучения «переходов к демократии» как самостоятельного направления политической науки – со времени публикации статьи Д.Растоу «Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model» (1970) – трудно назвать особенно продуктивным в отношении изучения собственно демократии как таковой. Транзитологи, как правило, принимали то или иное определение предполагаемой «точки прибытия» процесса перехода практически по умолчанию и без дискуссий (Merkel, 1998: 33-35). Между тем совершенно неочевидно не только то, в какой мере эти теоретические построения применимы к изучению обществ в процессе трансформации (вероятно, неприменимых концепций в принципе не существует), но и то, что нового позволяет узнать то или иное определение о предмете исследования. С этой точки зрения, однако, наиболее распространенные в литературе модели демократии в свете постсоветского опыта выглядят не вполне достаточными.

В самом деле, используя известную классификацию Дэвида Хэлда (Held, 1996), можно говорить о том, что подавляющее большинство теоретиков «переходов к демократии» явно (см., например: Huntington, 1991, Schmitter and Karl, 1991) или неявно ориентируются на одну из двух концептуальных схем. 1) «соревновательный элитизм» в шумпетерианском варианте, при котором единственным критерием демократии является замещение правительственных должностей на основе свободных и справедливых выборов (Шумпетер, 1995: 355). 2) плюралистическая модель «полиархии» по Роберту Далю, в рамках которой основными измерениями политического режима являются «состязательность» и «участие» (Dahl, 1971: 2-6), а основными индикаторами демократии – набор гражданских и политических прав и свобод. Ряд теоретиков «перехода к демократии» проводят также дополнительное различие между «минималистским» (процедурным) и «максималистским» (содержательным) наполнении демократии (см., например: O'Donnell, 1994, 1996, 1998, Diamond, 1999), фиксируют внимание на различных уровнях консолидации новых демократий (Linz and Stepan, 1996, Merkel, 1998), но очевидно, что для постсоветских обществ пока эта проблема – по крайней мере, пока – не является актуальной, и в дальнейшем в работе речь идти будет лишь о «минималистских» аспектах демократии, не затрагивающих, в частности, такие аспекты проблемы, как приверженность демократическим ценностям в массовом сознании, и т.д.

Прежде всего, идеальнотипический характер обеих указанных моделей создает немалые методологические проблемы операционализации используемых понятий и измерения конкретных показателей (см., в частности Vollen, 1991, Beetham, 1994, Fish,

1998). В результате как одномерная схема Шумпетера, так и двумерная схема Даля не могут быть сведены к бинарным характеристикам – например, в случае России, когда из восьми перечисленных Далем индикаторов прав и свобод в той или иной мере «работает» чуть более половины (см. Гельман, 1998, Brown, 1999). Даже простой электоральный тест «свободных и справедливых выборов» оказывается не вполне релевантным в эпоху «политических машин» и «партий власти», когда результаты голосования – даже при наличии конкуренции – во многом обуславливаются потенциалом административной мобилизации масс правящими группами, не говоря уже о систематическом неравенстве условий ведения кампании, как это было в ходе президентских выборов 1996 года в России (см. Treisman, 1998, McFaul, 1997, Gel'man and Elizarov, 1999). В ситуации, когда выборы не являются механизмом смены власти и не влияют сами по себе на выработку политического курса, их значение носит качественно иной характер, нежели в рамках шумпетерианской модели. В предельном случае, выборы носят неконкурентный характер, когда инкумбент получает свыше 70% голосов (см. Vanhanen, 1997: 41). Однако, возможно и создание своего рода «минимально выигрышной коалиции» в рамках правящей группы, которая (вкуче с административной мобилизацией) способна обеспечить действующему носителю «верховой власти» переизбрание при любых обстоятельствах, а в предельном случае – не допустить смены власти в случае избрания «неправильного» кандидата. Постсоветские электоральные практики – от Туркменистана до Украины и от Приморского края до Саратовской области – демонстрируют спектр подобных вариантов голосования. Последний регион попал в этот список не случайно: высказывание саратовского губернатора Дмитрия Аяцкова – «Демократия заканчивается там, когда последний бюллетень опущен в урну» (цит. по Tsygankov, 1998: 329) служит красноречивым примером подобного рода. Речь в данном случае идет не о либеральной критике «электорализма» (см., например, O'Donnell, 1994, 1996, Diamond, 1999), согласно которой выборы признаются хотя и необходимым, но явно недостаточным условием демократизации, а о том, что выборы могут не иметь отношения к демократии – т.е. к электоральной состязательности вообще (по крайней мере, исход этого состязания известен априори). Критерий «свободных и справедливых выборов» оказывается непригоден для анализа такого рода явлений – даже с учетом поправки на возможные промежуточные варианты типа «свободных, но несправедливых» выборов (см. Гельман, 1999, гл.4) «с частичной фальсификацией» (см. Coppedge and Reinicke, 1991: 49), и проч.

Ненамного больше пользы для осмысления постсоветских переходов дает и использование двумерной схемы Даля, в которой состязательность дополняется другим измерением – массовое политическое участие, трактуемое прежде всего как право избирать и быть избранным (Dahl, 1971: 4). Разумеется, для целей исторического анализа становления демократии роль становления всеобщего избирательного права очевидна. Но для изучения политики в пост-СССР с его наследием мобилизованного участия масс (по Далю – «инклюзивная гегемония») и 99% официального участия в неконкурентных выборах такой подход не прибавляет ничего принципиально нового, что фактически было показано еще в советскую эпоху (Coppedge and Reinicke, 1991: 63-66). Что же касается более сложных (и модных) схем, трактующих политическое участие в связи с «гражданственностью», «социальным капиталом» и прочими «правильными» атрибутами демократии (Putnam, 1993), то их релевантность по отношению к обществам с развитым клиентелизмом – к каковым относится и пост-СССР (см. Афанасьев, 2000) – представляется сомнительной. Дело не только в том, что постсоветский период принес незначительные изменения в политическое участие

(помимо электорального) и во многом политический активизм в России попросту «унаследован» из советского прошлого (см. McAllister and White, 1994). Скорее, возникновение электоральной политики в форме «политических машин» как инструмента массовой мобилизации и политического контроля взамен прежнего партийного господства (см. Врие, 1997) фактически подрывает «гражданское» участие, подменяя его обменом ресурсами. Примером тому может служить поддержка региональными властями «правильных» организаций «третьего сектора» в обмен на политическую лояльность и поддержку с их стороны (см. Белокурова, 2000). Иначе говоря, явления, внешне напоминающие «гражданственность», в постсоветском контексте приобретают совершенно иное значение. Активность населения в Новгородской области, по числу общественных объединений на душу населения сравнимой с Северной (не Южной!) Италией (см. Petro, 1999: 243-244), трудно рассматривать как признак демократической «гражданственности» в условиях, когда губернатор-инкубент, эффективно предотвративший возникновение политической конкуренции, получает 91% голосов на выборах при единодушном одобрении тех же «гражданских» ассоциаций. Фактически же, «гражданственность» в пост-СССР едва ли возможна до возникновения значительного слоя граждан, автономных (прежде всего – экономически) по отношению к властям; эта автономия в постсоветский период если не уменьшилась, то, по крайней мере, не увеличилась настолько, чтобы иметь существенное значение. Можно предположить, что в пост-СССР поведение масс еще долго будет отражать прежде всего процессы на уровне элит, и в этом смысле о «гражданском участии» говорить пока что не приходится (некоторые следствия этого феномена будут рассмотрены ниже).

Следует подчеркнуть, что критика указанных моделей связана не с тем, хороши они или плохи вообще, а с тем, что для анализа политических процессов в пост-СССР они обладают недостаточной разрешающей способностью. Следуя им, исследователь вынужден констатировать, например, в рамках схемы Даля, что Россия переживает переход от «авторитаризма мобилизованного участия» к «состязательной олигархии» (Мельвил, 1999), что, скорее, фиксирует проблему, чем решает ее. Возвращаясь к описанной выше типологии Лийпхарта, можно говорить о том, что случай пост-СССР в этом отношении не вписывается в рамки исследований, подтверждающих или опровергающих теории демократии. Это означает, что для перехода к построению теории постсоветского перехода необходимо рассмотреть особенности данного случая и факторы, ответственные за этот феномен.

Усилия исследователей в этом направлении, отраженные в современной литературе, можно условно разделить на три группы. Первая тенденция акцентирует внимание на особенностях «двойного» (Przeworski, 1991), «тройного» (Offe, 1996, ch.3) или даже более сложного и многогранного (см., например, Fish, 1996) процесса перехода в странах Восточной Европы и пост-СССР, заметно отличающихся от стартовых условий демократизации в Латинской Америке и Южной Европе (Vunce, 1995a, 1995b, 1998). Не отрицая значимости этих особенностей, следует отметить, что сам по себе их учет не дает ответа на вопрос о принципиальных отличиях переходов в Восточной Европе и странах пост-СССР. Вторая тенденция, напротив, придает особенностям истории и культуры России первоочередное значение, объявляя постсоветские общества априори непригодными для демократии в силу локальных («расколотая культура» (Ахиезер, 1997)) или же глобальных («столкновение цивилизаций» (Huntington, 1996)) причин. Однако подобного рода подходы лежат по ту сторону научного знания, поскольку предлагаемые в их рамках объяснения носят самодостаточный характер: согласно им, постсоветские общества не могут перейти к

демократии из-за «неправильной» культуры, а «правильная» культура не может утвердиться при отсутствии демократии в этих странах (аналогичную критику см. Голосов, 1999). Наконец, третья тенденция ставит в центр анализа проблемы роли государства в процессе перехода: перефразируя известное высказывание Баррингтона Мура, Хуан Линц и Альфред Степан выдвинули тезис «Нет государства, нет демократии» (Linz and Stepan, 1996, ch.2, Stepan, 1999). В этой связи становится весьма распространенным описание России и других постсоветских стран как «слабых государств» (см., например, Волков, 1998, McFaul, 1998, Solnick, 1999, Stoner-Weiss, 1999), которым присущи две основные характеристики.

Во-первых, в слабых государствах существенно ограничены возможности государства по применению силовых методов принуждения (*administrative capacity*). Иначе говоря, монополия на легитимное насилие со стороны централизованного государства (Волков, 1998: 39) подорвана конкуренцией со стороны других акторов (часть из которых претендует на то, чтобы выступать от имени «государства»). Во-вторых, в постсоветских слабых государствах отсутствует верховенство права (*rule of law*). Этому – во многом отличающему постсоветские общества от стран Восточной Европы – феномену сопутствуют описываемые в различных работах явления типа «олигархия» и/или «феодализм» (подробный анализ см. Solnick, 1999: 805-812), «касикизм» (Кагарлицкий, 1999, Matsuzato, 1999) и т.д.

Если принять «слабое государство» за «точку отсчета», определяющую специфику постсоветских случаев с точки зрения задач данной работы, то необходимо операционализовать наличие/отсутствие верховенства права при анализе демократии и/или противопоставляемых ей иных форм политических режимов.¹ Очевидно, понятие «верховенство права» на языке неоинституционального подхода (см. North, 1990) будет означать преобладание формальных институтов – или, во всяком случае, следование универсальным нормам и правилам со стороны основных акторов политического режима. Вместе с тем, отсутствие верховенства права означает преобладание неформальных институтов, основанных на партикуляристских нормах и правилах (таких, как клиентелизм или коррупция). Оппозицией принципу *rule of law* выступает принцип *arbitrary rule*, при котором формальные институты в лучшем случае являются фасадом неформальных или не имеют значения.

В известной мере эта оппозиция формальных и неформальных институтов перекликается с веберовскими идеальными типами рационально-легального господства, с одной стороны, и харизматического и традиционного господства, с другой. Однако формальные и неформальные институты не только находятся во взаимной оппозиции, но и очевидно дополняют друг друга: там, где отсутствует *rule of law*, регулирование осуществляется через нормы *arbitrary rule*. Там, где не работают суды и налоговая инспекция, уплата налогов и возврат долгов осуществляется с помощью силового предпринимательства (Volkov, 1999); там, где правительство не подотчетно парламенту, основные решения принимаются не выбранными представителями граждан, а в узком кругу «семьи»; там, где политические партии неспособны осуществлять политическую взаимосвязь элит и масс, их функции выполняют основанные на массовом клиентелизме «политические машины», и т.д. Современная постсоветская политика дает немало примеров такого рода замещения формальных институтов неформальными (достаточно вспомнить принятие решения о начале войны в Чечне в 1994 году или кампанию по переизбранию Ельцина

¹ Здесь и далее в работе использованы материалы исследовательского проекта «Россия регионов» (Гельман, Рыженков и Бри, 2000).

Президентом России в 1996 году). Очевидно, что даже возможное восстановление монополии на насилие со стороны государства без установления rule of law (попытки чего наблюдаются в России после прихода к власти Путина) само по себе не решает проблемы преобладания неформальных институтов в постсоветских обществах.

Рассмотрение преобладающего типа институтов как основы различий «переходов к демократии» (предполагающих установление преобладания формальных институтов) и постсоветских случаев, в которых – по крайней мере, пока – о выполнении этого условия говорить не приходится, заставляет переосмыслить и типологии политических режимов, предложенные в описанных выше схемах. Таким образом, само понятие «политический режим» здесь следует понимать функционально – не как форму правления (президентский или парламентский режим) или идеологическое клише («тоталитарный режим»), но как исчерпывающую совокупность присущих данному политическому образованию акторов (с их ресурсами и стратегиями) и институтов. Точно так же, как описание игры в теннис отличается от описания игры в шахматы характеристиками игроков, их действий и правил игры, политические режимы могут быть описаны в категориях акторов и институтов. В этом смысле идеальная демократия предстает как конкуренция акторов в рамках формальных институтов; в то же время позднесоветский режим с его «административным рынком» (см. Найшуль, 1991) предстает как неконкурентный, с нарастанием преобладания неформальных институтов и постепенным замещением ими институтов формальных (об этом процессе см. Solnick, 1998). Следуя этой логике, постсоветские режимы в России и Украине могут быть квалифицированы как конкурентные при преобладании неформальных институтов, в отличие от неконкурентных режимов, например, в Беларуси или в Казахстане (где, впрочем, также преобладают неформальные институты).

Разумеется, такого рода классификация создает новые методологические проблемы, связанные, например, с практическим определением реального влияния формальных и неформальных институтов. Но, по крайней мере, ее использование дает возможность поставить следующие вопросы: 1) являются ли нынешние результаты переходов в пост-СССР «точками прибытия» или же они представляют собой промежуточные результаты этого процесса; 2) каковы причины и следствия различий переходов уже не между пост-СССР и Восточной Европой, а внутри региона – между постсоветскими странами и отдельными территориями России. В поисках ответа на эти вопросы необходимо обратиться к теориям демократизации.

Пересматривая истоки: демократизация, конкуренция и институты

Концепции смены политических режимов, то есть, фактически, концепции демократизации (поскольку анализ перехода к недемократическим режимам находится на периферии внимания политологов (как исключение см. Linz and Stepan, 1978)) – принято разделять на 1) «структурные» (Melville, 1999: 168), или «функционалистские» (Hughes, 2000: 22-26), 2) «процедурные» (Melville, 1999: 168-169), или «генетические» (Hughes, 2000: 26-29), в зависимости от того, какое значение они придают «объективным» предпосылкам демократизации. Для «структурного» подхода социально-экономические и социально-культурные предпосылки носят определяющий характер, в то время как «генетические» подходы не придают им существенного значения, уделяя основное внимание собственно процессу демократизации как таковому. Однако как те, так и другие оказываются не вполне эффективным познавательным инструментом при анализе постсоветских переходов.

Структурная концепция, увязывающая демократический политический режим с социально-экономическим развитием обществ (Lipset, 1959, 1994; обзор эволюции концепции см. Diamond, 1992, Lipset, Seong and Torres, 1993) – в последнее время в большей степени с упором на социальные показатели (такими, как индекс человеческого развития) – как показал Стивен Фиш, демонстрируют некоторую (весьма слабую) взаимосвязь с уровнем демократизации в посткоммунистических странах (см. Fish, 1998: 225-226). Однако рассмотрение по отдельности постсоветских стран (или регионов России) не только не позволяет выявить сколь-нибудь значимых взаимосвязей, но и порождает новые вопросы. В самом деле, как мы можем сквозь призму социально-экономического детерминизма ответить на вопросы о том, почему возник недемократический режим Лукашенко в Беларуси (см. Фурман, 1998) с ее высокими «объективными» социально-экономическими показателями (в частности, наивысший индекс человеческого развития в пост-СССР)? Почему политические режимы в таких регионах России, как доиндустриальная Калмыкия (Магомедов, 1995, Сенатова, 1996) и постиндустриальная Москва (Brie, 1997) практически ничем не отличаются друг от друга с точки зрения отсутствия конкуренции и преобладания неформальных институтов – в то время как в сопоставимых друг с другом по этим показателям Нижегородской (Гельман, Рыженков и Бри, 2000, гл.4) и Свердловской (Gel'man and Golosov, 1998) областях они различаются достаточно сильно. Слабость структурного подхода состоит, между тем, не только в этом. «Объективные» факторы и предпосылки складываются десятилетиями и проявляются на достаточно большом временном интервале, в то время как процесс перехода протекает значительно быстрее. Поэтому разрешающая способность такого рода объяснений применительно к анализу сходств и различий трансформаций в пост-СССР после менее чем десяти лет крушения КПСС оказывается недостаточной.

Казалось бы, «процедурный» подход, ориентированный на анализ действий акторов в ходе трансформации, призван исправить недостатки «структурного» детерминизма (см. Rustow, 1970). Однако транзитологические схемы не менее уязвимы в том отношении, что они дают более или менее подробное представление о том, КАК происходит «переход к демократии» (см. например: O'Donnell and Schmitter, 1986, Huntington, 1991, Przeworski, 1991), но не ставят своей задачей обоснованный ответ на вопрос о том, ПОЧЕМУ же его результаты оказываются столь различны. Объяснения причин у транзитологов носят окказионально-субъективный характер: так, например, неудавшийся «переход к демократии» в России после 1991 года связывается с отказом Ельцина провести «учредительные выборы» после крушения власти КПСС (см. McFaul, 1995: 226-227, Linz and Stepan, 1996: 392-394). Не говоря уже о том простом соображении, что дорвавшиеся до власти в 1991 году российские «демократы» не имели рациональных стимулов к проведению выборов (см. Shevtsova, 1999), подобная аргументация, скорее, вызывает в памяти высмеянные Львом Толстым рассуждения о роли насморка Наполеона в исходе Бородинского сражения.

Другим существенным пробелом этого подхода следует признать чрезмерное внимание (и преувеличенное значение), которое транзитологи придают одним моделям перехода – прежде всего, «пактам», или соглашениям элит (Rustow, 1970, O'Donnell and Schmitter, 1986, Higley and Burton, 1989, Burton, Guntner and Higley, 1992) – в ущерб другим. Тем временем, опыт постсоветских переходов отличается в этом отношении от Восточной Европы – по крайней мере, Польши и Венгрии с их «круглыми столами» (Linz and Stepan, 1996, Elster, 1996) – не только тем, что крушение прежнего режима, по существу, носило характер «навязанного перехода» (Karl and Schmitter 1991: 275) в результате коллапса КПСС и союзного государства. Важнее

другое – постсоветские «пакты» в ряде случаев служили задаче ограничения политической конкуренции и установления преобладания неформальных институтов (см. Холодковский, 1997, Елизаров, 1999, Гельман, Рыженков и Бри, 2000), то есть фактически не только не способствовали демократизации, но, скорее, препятствовали ей.² Андрей Мельвиль даже называет российский вариант соглашения элит «извращенным» (Мельвиль, 1999), хотя такого рода опыт далеко не уникален (см., например: Knight, 1992, Case, 1996). Однако даже вводя в рассмотрение более широкий спектр вариантов трансформации (Linz and Stepan, 1996), в том числе связанных не только с различиями крушения прежних режимов, но и установления новых (Gel'man, 1999), транзитология сама по себе оказывается бессильной объяснить причину успеха или неудачи переходов.

Таким образом, перед исследователем, пытающимся осмыслить закономерности постсоветских переходов, встает задача адекватного синтеза этих (и, возможно, иных)³ подходов, способного элиминировать их недостатки. Однако эта задача не может быть решена без того, чтобы дать ответы на вопросы, вытекающие из сказанного выше: если рассматривать демократизацию как переход к политической конкуренции в рамках формальных институтов, то необходимо понять источники возникновения и выживания обоих этих феноменов.

Несколько проще обстоит дело с поиском оснований политической конкуренции. Ее возникновение вполне удовлетворительно описывается в рамках известной концепции «структуры раскола», разработанной в рамках исторического анализа формирования современных демократий (см. Lipset and Rokkan, 1967, Rokkan, 1970: 72-144). Примечательно, что в первоначальном виде этот подход был призван объяснить формирование массовых баз современных политических партий Западной Европы с помощью изучения социетальных расколов, сложившихся в процессе модернизации. Тогда же он подвергся критике за то, что он не позволяет дать ответ на вопрос, почему одни объективно существующие расколы «транслируются» на уровень контуров партийной системы, а другие – нет (Sartori, 1990 (1968): 176). Позднее, Стэйн Роккан дополнил эту концепцию, указав, что на стадии формирования конкурентных партийных систем ключевая роль принадлежит политическим элитам – «альянсам политических предпринимателей» и избираемым ими стратегиям мобилизации масс (Rokkan, 1977). Иными словами, если в развитых демократиях политическая конкуренция (по крайней мере, на уровне партийных систем) поддерживается благодаря «замороженным» социетальным расколам, то в процессе демократизации решающее значение имеют расколы элит, создающие базу политической конкуренции. Тем более важно это обстоятельство для политического развития в постсоветских обществах, где относительно слабая выраженность социетальных расколов на уровне идеологических альтернатив (см. Evans and Whitefield, 1993, Whitefield and Evans, 1999, Дилигенский, 1998, 1999) отмечается на фоне высокой зависимости «массовых клиентел» (Афанасьев, 2000) от патронажа со стороны элит. Выборы 1999-2000 годов в России, где массовое электоральное поведение в значительной мере определялось степенью монополизации власти в рамках региональных политических элит, служат этому тезису показательной иллюстрацией.

² Аналогом такого рода «пактов» в экономике может служить сговор нескольких фирм с целью монополизации рынка.

³ Представляется, что некоторые подходы (в частности, культуралистские обоснования демократизации) еще в меньшей степени адекватны постсоветской практике, чем структурные и транзитологические модели.

Таким образом, источником формирования политической конкуренции (без которой о демократизации говорить не приходится) в постсоветском обществе служат не «пакты», а расколы элит, что подтверждается, по крайней мере, по результатам исследований политического развития регионов России (см. Gel'man and Golosov, 1998, Golosov, 1999, Гельман, Рыженков и Бри, 2000, гл.5) Это условие, однако, может быть использовано как «точка отсчета» для анализа как минимум с двумя ограничениями. Во-первых, речь идет не только о конфликтах на уровне отдельных персонажей и конкретных властвующих группировок (типа пресловутых «олигархов»), но о наличии объективных структурных оснований для их возникновения – в противном случае эти конфликты могут быть легко элиминированы при изменении ситуативной расстановки сил. Следуя логике концепции «расколов», можно предположить, что внутриэлитные конфликты лишь открыто проявились в постсоветский период, но формировались значительно раньше. Подобно расколам в западных обществах, они являлись побочным продуктом советской модернизации, в рамках которой развивались латентные противоречия заинтересованных групп, отмеченные советологами ревизионистской школы еще задолго до распада СССР (см. Skilling and Griffith, 1971). Эти противоречия, в свою очередь, отражали присущий модернизирующимся обществам – в том числе советскому – конфликт между «центром» и «периферией» (см. Eisenstadt, 1978, 1992), сыгравший позднее немалую роль в трансформации политических систем постсоветских государств. Во всяком случае, ряд исследователей склонны придавать первостепенное значение расколу «центр-периферия» как на уровне политических элит (см. Furman, 1999), так и на социетальном уровне (см. Колосов и Туровский, 1996, Туровский, 1996).

Во-вторых, наряду с наличием структурных оснований расколов, не менее важным условием выживания политической конкуренции является – по крайней мере, на начальном этапе – ее неустрашимый характер, или, иначе говоря, невозможность разрешения внутриэлитных конфликтов по принципу «игры с нулевой суммой», что возможно лишь при условии относительного баланса ресурсов, которые способны мобилизовать в свою пользу участники конфликта. Таким образом, доминирование «центра» или «периферии» в данном случае ведет к закреплению господства той или иной победившей стороны в контурах вновь возникающей политической системы, после чего о конкуренции говорить не приходится (сходные аргументы см. Przeworski, 1991: 51-53). Подобного рода исходы конфликтов были отмечены нами на примере Саратовской области (Гельман, Рыженков и Бри, 2000, гл.3), и Дмитрием Фурманом на примере Беларуси (Furman, 1999), где полная победа «периферии» над «центром» привела к формированию неконкурентных неопатримониальных режимов. В равной степени и доминирование «центра» также не ведет к формированию конкуренции, хотя антидемократические альтернативы здесь не столь радикальны; скорее, речь идет о разновидностях гибридных режимов (см. Гельман, 1999, гл.4).

Вместе с тем, основания для возникновения преобладания формальных институтов в постсоветских обществах остаются неясны. Надо сказать, что теории демократизации, за редким исключением (см. Linz and Stepan, 1996, Weingast, 1997), обходят вопрос о возникновении верховенства права стороной, полагая его либо возникающим «по умолчанию», либо унаследованным от прежнего режима, либо инсталлированным «извне» (в результате международного воздействия на процессы перехода). Однако постсоветский опыт в этом отношении заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку: 1) наследие советского периода сформировало устойчивое преобладание неформальных институтов на уровне как политического управления (см. Найшуль, 1991), так и массового поведения (см. Ledeneva, 1998); 2) эффекты международного

воздействия на установление формальных институтов в России были весьма противоречивы (критические оценки см. Wedel, 1998), и задача установления верховенства права в России и других странах пост-СССР не входила в планы западной «помощи» (см., например, Ослунд, 1996, Aslund, 1997); 3) в России в условиях доминирования правящей группировки, победившей в ходе «навязанных переходов» 1991 и 1993 годов и обеспечившей электоральные победы в 1996 и 1999-2000 годах, стимулы к созданию ею формальных институтов, которые ограничивали бы ее собственную власть, очевидно оказались подорваны. Значит ли это, что достигнутый таким образом эквilibrium преобладания неформальных институтов (см. Solnick, 1999: 805) уже «обречен» на то, чтобы воспроизводиться в течение десятилетий?

Одним из вариантов возникновения верховенства права теоретик рационального выбора Барри Вейнгаст видит заключение «пакта» политических акторов на основе своего рода негативного консенсуса (Weingast, 1997: 252-253). Анализируя английскую «славную революцию» конца 17-го века, он делает вывод о том, что соглашение тори и вигов, ставшее основой политической конкуренции в рамках преобладания формальных институтов, стало возможным в силу политики короны, которая в течение нескольких лет систематически притесняла вигов, а потом принялась за тори, чем подтолкнула последних к объединению против общего врага и выработке согласованных правил, исключавших произвол со стороны «суверена» (в пост-СССР нечто подобное – создание коалиции с участием либералов, националистов и части коммунистов, объединившихся против Лукашенко – отмечалось в 1996 году в Беларуси, хотя и не увенчалось успехом). Однако следует заметить, что достижение такого рода соглашения элит, считающегося наиболее успешным примером начала процесса демократизации – длившегося 150-180 лет без перерыва (см. Burton, Higley and Gunther, 1992), является не единственным возможным результатом негативного консенсуса даже в случае успеха оппозиции. Неясно, каковы стимулы к тому, чтобы инициаторы коалиции соблюдали условия «пакта» после свержения «суверена», а не пошли по пути дележа добычи и не вступили бы в новый конфликт (см. также: Weingast, 1997: 258-259). Так, Беловежские соглашения, ставшие, по сути, актом упразднения всех формальных институтов, существовавших в СССР, демонстрируют другую точку эквilibrium, и нет оснований полагать, что такого рода вариант негативного консенсуса является менее привлекательным для его возможных участников.

Другой вариант возникновения преобладания формальных институтов связан с исчерпанием силовых стратегий в случае конфликта конкурирующих акторов, когда ситуативно более слабая сторона, не имея иных ресурсов для обеспечения своего политического выживания, вынуждена прибегнуть к формальным институтам как орудию в этой борьбе (см. Geddes, 1996: 18-19). Систематическое использование этих норм и правил вынуждает и других участников конфликта использовать эти же орудия, и таким образом происходит переход от «войны всех против всех» к «борьбе по правилам» (см. Гельман, Рыженков и Бри, 2000, гл.1) и достижение, говоря словами Адама Пшеворски, «обусловленного институционального компромисса» (Przeworski, 1986, 1988). Постсоветский опыт такого рода – по крайней мере, на региональном уровне – связан, в частности, с весьма эффективным применением депутатами Ленсовета мер законодательной политики, предотвратившей полномочия (тогда) почти харизматического мэра Собчака в 1990-1991 годах (см. Горный и др., 1996) или с созданием отставным экс-губернатором Свердловской области Росселем в 1993 году партии «Преображение Урала», что повлекло за собой возникновение в

регионе относительно развитой партийной системы (см. Gel'man and Golosov, 1998). Перенос же этого конфликта (который начинает развиваться в рамках формальных институтов) на поле массовой политики через механизм конкурентных выборов и сменяемости власти – делает процесс демократизации устойчивым и непрерывным. Однако, такие случаи в пост-СССР относительно немногочисленны; более того, подобный исход конфликта определялся исключительно соотношением сил и ресурсным потенциалом конкурентов. Использование формальных институтов может оказаться недостаточным для выживания слабого конкурента; в этом случае все надежды на установление верховенства права оказываются похоронены. Тогда «война всех против всех» может или носить характер «дурной бесконечности» или привести к полному уничтожению слабой стороны конфликта по принципу «победитель получает все».

Нельзя не отметить, что оба варианта установления верховенства права – негативный консенсус и «борьба по правилам» – предполагают, что преобладание формальных институтов устанавливается почти одновременно с возникновением политической конкуренции или по крайней мере в процессе ее развития. Однако постсоветская Россия (и, в меньшей мере, Украина) демонстрирует иной вариант перехода, когда политическая конкуренция на уровне внутриэлитного конфликта существовала, по крайней мере, до 2000 года, в то время как тенденции к установлению верховенства права и преобладания формальных институтов выражены достаточно слабо – скорее, имеет место закрепление господства и даже формализация неформальных институтов. Напротив, правящей группировке в России (после 1991 года) и Украине (после 1994 года) удалось сконцентрировать в своих руках достаточно ресурсов для того, чтобы минимизировать угрозу утраты собственной власти со стороны конкурентов и не испытывать, таким образом, потребности в подотчетности формальным институтам. Более того, если до президентских выборов 1996 года внутриэлитный конфликт в России можно было с известной долей условности рассматривать как отражение конфликта «центра» и «периферии» (см., например, McFaul, 1997, Furman, 1999), то последующие события – во всяком случае, после 1997 года, когда распалась коалиция, поддерживавшая Ельцина на президентских выборах (см. Shevtsova, 1999), скорее, свидетельствуют о подрыве структурных оснований политической конкуренции. Ход и итоги федеральных выборов 1999-2000 годов в России также свидетельствуют в пользу этой тенденции.

Итак, результаты трансформации части постсоветских политических режимов, которые привели (по крайней мере, в Украине и в России – как на национальном уровне, так и в части ее регионов) к установлению политической конкуренции при преобладании неформальных институтов, можно расценить как промежуточные. Это ставит на повестку дня как вопрос о возможных перспективах дальнейшего перехода, так и о некоторых новых исследовательских задачах.

* * *

Очевидно, что шансы на переход к демократии в пост-СССР зависят от того, как и когда может быть достигнуто преобладание формальных институтов (этот процесс в любом случае не обещает быть одномоментным). На первый взгляд, просматривается три различных варианта такого перехода: 1) постепенное принятие формальных институтов в качестве побочного продукта развития конкурентной – прежде всего, электоральной – политики в ее нынешнем варианте (см. McFaul, 1999); 2) переход к неконкурентному политическому режиму с последующей инсталляцией формальных

институтов через централизацию и монополизацию власти в силу (вос)становления государства (см. Волков, 1998: 47); 3) подрыв складывающегося политического режима на манер нового «навязанного перехода» в результате эскалации конфликтов – в том числе вовлечения в них политических аутсайдеров и массовых акторов (см. Solnick, 1999: 815, Гельман, Рыженков и Бри, 2000, гл.9). Однако, последствия каждого из этих вариантов переходов, как минимум, неочевидны.

Как уже отмечено выше, конкурентная электоральная политика сама по себе способствует успешной инсталляции формальных институтов лишь при условиях, если конкуренция носит неустрашимый характер как в смысле примерного равенства ресурсов конкурентов, так и в смысле структурных оснований конфликта. Пока Россия демонстрирует отсутствие обоих этих условий (Украина – по крайней мере, первого), и их достижение в обозримом будущем следует оценить как маловероятное. Следовательно, нет веских оснований для того, чтобы формальные институты стали «единственной признанной игрой» (only game in town) (Linz and Stepan, 1996). Напротив, не лишено оснований замечание Стивена Солника о том, что электоральная конкуренция при определенных условиях может являться лишь частью стратегии сохранения баланса сил между группами элит, но не вести к усилению формальных институтов (Solnick, 1999: 805), хотя не исключена возможность использования этих институтов не для сохранения статус-кво, но для его подрыва (ibid.: 816).

Обсуждение варианта перехода к неконкурентной политике возвращает нас к идущей с 1989 года дискуссии о возможности авторитарной трансформации в постсоветском обществе (см. обзоры: Sautman, 1995, Гельман, 1999, гл.2). Вероятность такого исхода в России становится актуальной на фоне возрастания влияния правых либералов на экономический курс правительства. Не вдаваясь в полемику о достоинствах и недостатках такого рода переходов, следует отметить, что опыт тех постсоветских стран, где утвердились неконкурентные режимы (в частности, Беларуси и Казахстана) не свидетельствует в пользу утверждения в этих странах верховенства права. Формальные институты здесь, скорее, служат фасадом неформального господства, в то время как более широкие административные возможности государства не только не гарантируют гражданам и организациям защиту от arbitrary rule, но, напротив, увеличивают угрозы их применения. Нет оснований полагать возможности такого рода в России или Украине принципиально отличающимися. Во всяком случае, монополия на власть не рождает сама по себе формальные институты: ограничивать собственный произвол никто не намерен.

Наконец, эскалация конфликта и подрыв режима изнутри выглядит вполне реальной альтернативой сохранению статус-кво. Если сопоставлять масштабы политических преобразований в сегодняшней России или Украине с уровнем политического насилия (политические убийства, терроризм по политическим мотивам, массовые политические акции), то, если не рассматривать войну в Чечне, последний окажется непропорционально мал даже по сравнению с опытом России до 1917 года (не говоря уже о Латинской Америке). Можно предположить, что если, скажем, российские политики будут чаще и больше убивать друг друга, то цена их конкуренции в рамках неформальных институтов окажется более высокой, чем следование институтам формальным (эту фразу не следует трактовать как призыв к насилию!). Но такой вариант развития событий – далеко не единственный. Альтернативами ему могут стать как территориальная дезинтеграция страны, так и переход к неконкурентной политике через возникновение нового недемократического режима (см., например: Knight, 1992). Нет оснований полагать, что кризис постсоветских режимов сам по себе будет способствовать их демократизации в большей мере, чем другим исходам.

В целом, постсоветский опыт переходов лишней раз подтверждает, что демократия не рождается «по умолчанию» или даже в результате усилий «демократов» (пусть ими и движут добрые намерения), но является прежде всего «обусловленным исходом конфликта» (Przeworski, 1988: 59). Этот, казалось бы, достаточно банальный вывод настоящей работы может служить и «точкой отсчета» для дальнейших исследований. Из сказанного выше следует, что центральными проблемами демократизации в пост-СССР являются политическая конкуренция и становление формальных институтов. Изучение этих аспектов постсоветской политики – как в России, так и (во многом) на Западе – находится пока что на начальной стадии анализа эмпирики в свете подтверждения и/или опровержения существующих теорий (релевантность которых по отношению к пост-СССР, как показано выше, порой вызывает сомнения). Очевидно, что следующие шаги по переосмыслению теорий требуют и иных подходов к изучению практики постсоветского развития.

До самого последнего времени рассмотрение процессов демократизации вообще и в пост-СССР в частности проходило в рамках парадигмы своего рода «голливудского фильма». Согласно ей, «хорошие парни» (сторонники демократии) противостоят «плохим парням» (противникам демократии), но в конечном итоге зрителей ждет «happy end», то есть успех «хороших парней» (см., например, McFaul, 1997). Сегодня, после осознания того, что «happy end» вряд ли наступит, а «хороших парней» в природе не бывает (равно как и «плохих») следует ожидать – так же, как некогда в кинематографе – прихода реализма (в любом возможном смысле этого понятия). Реализм в изучении политики в пост-СССР означает не только отказ от нормативного взгляда и принятие существующих акторов и институтов такими, каковы они есть. В более широком плане, речь идет о реализации исследовательских программ, ориентированных на выявление причин и следствий динамики акторов и институциональных изменений в сравнительной перспективе – как кросс-национальной, так и кросс-региональной (имея в виду сравнение национальной и субнациональной политики в странах пост-СССР). Такие исследования могут стать «точками роста» нового знания о мире политики в целом. Для изучения субнациональной политики в России такой «точкой роста», вероятно, может стать политический анализ становления местного самоуправления в крупных городах и сопутствующего этому процессу конфликта региональных и субрегиональных элит. Для изучения политики в постсоветских государствах новые познавательные возможности может открыть анализ перехода в Беларуси, демонстрирующей случай успешной консолидации недемократического посткоммунистического режима. В изучении электоральной политики в пост-СССР мы, вероятно, узнаем больше нового не столько из анализа партийных программ, сколько из переосмысления феномена «политических машин» и административной мобилизации. Наконец, собственно политическая практика функционирования формальных институтов – создание и применение конкретных законов, разрешение споров и использование санкций – также остается резервом исследовательской повестки дня.

Реалистический анализ постсоветской политики только начинается. Продолжение следует...

ЛИТЕРАТУРА

- Афанасьев, Михаил (2000). Клиентелизм и российская государственность. 2-е издание. М.: Московский общественный научный фонд.
- Ахизер, Александр (1997). Россия: критика исторического опыта. Новосибирск: Сибирский хронограф.
- Белокурова, Елена (2000). Государство и благотворительные организации: трансформация моделей взаимодействия. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. Европейский Университет в Санкт-Петербурге и ИМЭМО РАН.
- Волков, Вадим (1998). Монополия на насилие и скрытая фрагментация российского государства (исследовательская гипотеза) Полис, 5, сс. 39-47.
- Гельман, Владимир (1998). Демократия избыточная или недостаточная? Pro et Contra 3 (4), сс. 166-172.
- Гельман, Владимир (1999). Трансформация в России: политический режим и демократическая оппозиция. М.: Московский общественный научный фонд.
- Гельман, Владимир, Сергей Рыженков и Михаэль Бри (2000) (ред.). Россия регионов: трансформация политических режимов. М.: Весь мир, Berliner Debatte Wissenschaftsverlag.
- Голосов, Григорий (1999). Партийные системы России и стран Восточной Европы. М.: Весь мир.
- Горный, Михаил и др. (1996). Городской Совет Ленинграда – Санкт-Петербурга в 1990-1993 годах. Организация власти в Санкт-Петербурге, выпуск 1.
- Дилигенский, Герман (1998) (ред.). Человек в переходном обществе. Социологические и социально-психологические исследования. М.: ИМЭМО РАН.
- Дилигенский, Герман (1999). Дифференциация или фрагментация? О политическом сознании в России. Мировая экономика и международные отношения, 9, сс. 65-70, 10, сс. 38-48.
- Елизаров, Виталий (1999). Элитистская теория демократии и современный российский политический процесс. Полис, 1, сс. 72-78.
- Фурман, Дмитрий (1998) (ред.). Белоруссия и Россия: общества и государства. М.: Права человека.
- Кагарлицкий, Борис (1999). «Касикизм» по-русски. Независимая газета, 4 августа, сс. 1, 3.
- Колосов, Владимир и Ростислав Туровский (1996). Электоральная карта современной России: генезис, структура и эволюция. Полис, 4, сс. 33-46.
- Магомедов, Арбахан (1995). Корпорация «Калмыкия» – выражение идеологии правящей региональной элиты. Мировая экономика и международные отношения, 12, сс. 106-113.
- Мельвиль, Андрей (1999). Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты. М.: Московский общественный научный фонд.
- Найшуль, Виталий (1991). Высшая и последняя стадия социализма, в: Татьяна Ноткина (ред.). Погружение в трясину М.: Прогресс, сс. 31-62.
- Ослунд, Андерс (1996). Россия: рождение рыночной экономики. М.: Республика.
- Сенатова, Ольга (1996). Региональный авторитаризм на стадии его становления, в: Татьяна Заславская (ред.) Куда идет Россия ? Трансформация постсоветского пространства. М.: Аспект-Пресс, сс. 146-151.
- Туровский, Ростислав (1996) Политическое расслоение российских регионов (история и факторы формирования), в: Виктор Кувалдин (ред.). Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России. М.: Центр комплексных социальных исследований и маркетинга, сс. 37-52.
- Холодковский, Кирилл (1997). Консолидация элит: общественный пакт или верхушечный сговор?, в: Татьяна Заславская и др. (ред.) Куда идет Россия ? Общее и особенное в современном развитии. М.: Интерцентр, сс. 125-132.
- Шумпетер, Йозеф (1995). Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика.
- Almond, Gabriel, with Laura Rosselle (1990). Model Fitting in Communist Studies, in Gabriel

Almond. A Discipline Divided. Schools and Sects in Political Science. London: Sage, pp. 86-116.

Aslund, Anders (1997). Economic Causes of Crime in Russia, in Jeffrey D. Sachs and Katharina Pistor (eds.). The Rule of Law and Economic Reform in Russia. Boulder, CO: Westview, pp. 79-94.

Betham, David (1994) (ed.). Defining and Measuring Democracy. London: Sage.

Bollen, Kenneth A. (1991). Political Democracy: Conceptual and Measurement Traps, in Alex Inkeles (ed.) On Measuring Democracy. Its Consequences and Concomitants. New Brunswick, NJ, and London: Transaction Publishers, pp. 3-20.

Brie, Michael (1997). The Political Regime of Moscow – Creation of a New Urban Machine? Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Working Papers P 97-002.

Brown, Archie (1999). Russia and Democratization. Problems of Post-Communism, 46 (5), pp. 3-13.

Bunce, Valerie (1995a). Should Transitologists be Grounded ? Slavic Review, 54 (1), pp. 109-127.

Bunce, Valerie (1995b). Paper Curtians and Paper Tigers. Slavic Review, 54 (4), pp. 979-987.

Bunce, Valerie (1998). Regional Differences in Democratization; The East Versus the South. Post-Soviet Affairs, 14 (3), pp. 187-211.

Burton, Michael, John Higley and Richard Gunther (1992). Introduction: Elite Transformations and Democratic Regimes, in John Higley and Richard Gunther (eds.). Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 1-37.

Case, William (1996). Can the “Halfway House” Stand ? Semidemocracy and Elite Theory in Three Southeast Asian Countries. Comparative Politics, 28 (4), pp. 437-464.

Collier, David and Steven Levitsky (1997). Democracy with Adjectives. Conceptual Innovation in Comparative Research. World Politics, 49 (3), pp. 430-451.

Colton, Timothy (2000). Transitional Citizens. Cambridge, MA: Harvard University Press (forthcoming).

Coppedge, Michael and Reinicke Wolfgang H. (1991) Measuring Polyarchy, in Alex Inkeles (ed.) On Measuring Democracy. Its Consequences and Concomitants. New Brunswick, NJ, and London: Transaction Publishers, pp. 47-68.

Dahl, Robert (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.

Diamond, Larry (1992). Economic Development and Democracy Reconsidered, in Gary Marks and Larry Diamond (eds.). Reexamined Democracy. Essays in Honor of S.M.Lipset. London: Sage, pp. 93-139.

Diamond, Larry (1999). Developing Democracy. Toward Consolidation. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

Eisenstadt, Smuel (1978). Revolution and Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations. New York: Free Press.

Eisenstadt, Smuel (1992). Center-Periphery Relations in the Soviet Union: Some Interpretative Observations, in Alexander Motyl (ed.). Thinking Theoretically About Soviet Nationalities. History and Comparison in the Study of the USSR. New York: Columbia University Press, pp. 205-222.

Elster, Jon (1996) (ed.). Roundtable Talks and The Breakdown of Communism. Chicago: University of Chicago Press.

Evans, Geoffrey and Steven Whitefield (1993). Identifying the Basis of Party Competition in Eastern Europe. British Journal of Political Science, 23 (4), pp. 521-548.

Fish, M. Steven (1996). Russia’s Fourth Transition, in Larry Diamond and Marc Plattner (eds.). The Global Resurgence of Democracy. 2nd edition. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, pp. 264-275.

Fish, M. Steven (1998). Democratization Requisites: The Postcommunist Experience. Post-Soviet Affairs, 14 (3), pp. 212-247.

Furman, Dmitrii (1999). «Centres» and «Peripheries». The Political Systems of the Three East Slavic Republics. Russian Politics and Law, 37 (2), pp. 16-35.

Geddes, Barbara (1996). Initiation of New Democratic Institutions in Eastern Europe and Latin America, in: Arend Lijphart and Carlos Waisman (eds.). Institutional Design in New Democracies. Eastern Europe and Latin America. Boulder, CO: Westview, pp. 15-41.

Gel’man, Vladimir (1999). Regime Transition, Uncertainty and Prospects for Democratisation: The

Politics of Russia's Regions in a Comparative Perspective. Europe-Asia Studies, 51 (6), pp. 939-956.

Gel'man, Vladimir and Vitalii Elizarov (1999). Russia's Transition and Founding Elections, in Vladimir Gel'man and Grigorii Golosov (eds.) Elections in Russia, 1993-1996. Berlin: Edition Sigma, pp. 19-46.

Gel'man, Vladimir and Grigorii Golosov (1998). Regional Party System Formation in Russia: The Deviant Case of Sverdlovsk Oblast'. Journal of Communist Studies and Transition Politics, 14 (1/2), pp. 31-53.

Golosov, Grigorii (1999). From Adygeya to Yaroslavl': Factors of Party Development in the Regions of Russia. Europe-Asia Studies, 51 (8), pp. 1333-1365.

Held, David (1996). Models of Democracy. 2nd edition. Cambridge, UK: Polity Press.

Higley, John and Michael Burton (1989). Elite Variables in Democratic Transitions and Breakdowns. American Sociological Review, 54 (1), pp. 17-32.

Hughes, James (2000). Transition Models and Democratization in Russia, in Mike Bowker and Cameron Ross (eds.). Russia After the Soviet Union. Harlow: Longman, pp. 21-49.

Huntington, Samuel (1991). The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, OK, and London: University of Oklahoma Press.

Huntington, Samuel (1996). The Clash of Civilizations and Remaking the World Order. New York: Simon and Schuster.

Karl, Terry and Philippe Schmitter (1991). Models of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. International Social Science Journal, 43 (128), pp. 269-284.

Knight, Alan (1992). Mexico's «Elite Settlement»: Conjuncture and Consequences, in John Higley and Richard Gunther (eds.). Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 113-145.

Ledeneva, Alena (1998). Russia's Economy of Favours: Blat, Networking, and Informal Exchanges. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Lijphart, Arend (1971). Comparative Politics and Comparative Method. American Political Science Review, 65 (3), pp. 682-693.

Linz, Juan and Alfred Stepan (1978) (eds.) The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

Linz, Juan and Alfred Stepan (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

Lipset, Seymour Martin (1959). Economic Development and Democracy. American Political Science Review, 53 (1), pp. 69-105.

Lipset, Seymour Martin (1994). The Social Requisites of Democracy Revisited: 1993 Presidential Address. American Sociological Review, 59 (1), pp. 1-22.

Lipset, Seymour Martin and Stein Rokkan (1967). Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignment, in Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan (eds.) Party System and Voter Alignment: Cross-National Perspectives. New York: Free Press, pp. 1-64.

Lipset, Seymour Martin, Kyong-Ryung Seong and John Charles Torres (1993). A Comparative Analysis of Social Requisites of Democracy. International Social Science Journal, 45 (136), pp. 154-175.

Matsuzato, Kimitaka (1999). From Ethno-Bonapartism to Centralized Caciquismo. Features and Genesis of the Tatarstan Political Regime. Paper presented at AAASS National Convention. St.Louis, MO.

McAllister, Ian and Stephen White (1994). Political Participation in Postcommunist Russia: Voting, Activism and the Potential for Mass Protest. Political Studies, 42 (4), pp. 593-615.

McFaul, Michael (1995). State Power, Institutional Change and the Politics of Privatization in Russia. World Politics, 47 (2), pp. 210-243.

McFaul, Michael (1997). Russia's 1996 Presidential Elections: The End of Polarized Politics. Stanford, CA: Hoover Institution Press.

McFaul, Michael (1998). Russia's 'Privatized' State as an Impediment to Democratic Consolidation.

- Security Dialogue, 29 (2), pp. 191-199; 29 (3), pp. 315-332.
- McFaul, Michael (1999). The Perils of a Protracted Transition. Journal of Democracy, 10 (2), pp. 4-18.
- Melville, Andrei (1999). Russia in the 1990s: Democratization, Postcommunism, or Something Else? Demokratizatsiya, 7 (2), pp. 165-187.
- Merkel, Wolfgang (1998). The Consolidation of Post-Autocratic Democracies: A Multi-Level Model. Democratization, 5 (3), pp. 33-67.
- North, Douglass (1990). Institutions, Institutional Changes, and Economic Performance. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- O'Donnell, Guillermo and Philippe Schmitter (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.
- O'Donnell, Guillermo (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy, 5 (1), pp. 55-69.
- O'Donnell, Guillermo (1996). Illusions About Consolidation. Journal of Democracy, 7 (2), pp. 34-51.
- O'Donnell, Guillermo (1998). Horizontal Accountability in New Democracies. Journal of Democracy, 9 (3), pp. 112-126.
- Offe, Claus (1996) Varieties of Transition. The East European and East German Experience. Cambridge, UK: Polity Press.
- Petro, Nikolai (1999). The Novgorod Region: A Russian Success Story. Post-Soviet Affairs, 15 (3), pp. 235-261.
- Przeworski, Adam (1986). Some Problems in the Study of Transition to Democracy, in: Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter and Lawrence Whitehead (eds.). Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, pp. 47-63.
- Przeworski, Adam (1988). Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts, in Jon Elster and Ruge Slagstad (eds.). Constitutionalism and Democracy. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 59-80.
- Przeworski, Adam (1991). Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert (1993). Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rokkan, Stein et al. (1970). Citizens, Elections, Parties. Approaches to the Comparative Study of the Process of Development. Oslo: Universitetsforlaget.
- Rokkan, Stein (1977). Toward a Generalized Concept of Verzuilling: A Preliminary Note. Political Studies, 25 (4), pp. 563-570.
- Rustow, Dankwart (1970). Transitions to Democracy: Toward a Dynamics Model. Comparative Politics, 2 (3), pp. 337-363.
- Sartori, Giovanni (1990 (1968)). The Sociology of Parties: A Critical Review, in Peter Mair (ed.). The West European Party System. Oxford: Oxford University Press, pp. 150-182.
- Sautman, Barry (1989). The Devil to Pay. The 1989 Debate and the Intellectual Origins of Yeltsin's «Soft Authoritarianism». Communist and Post-Communist Studies, 28 (1), pp. 131-151.
- Schmitter, Philippe and Terry Karl (1991). What Democracy Is... and Is Not. Journal of Democracy, 2 (3), pp. 75-87.
- Schmitter, Philippe and Terry Karl (1994). The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists: How Far to the East They Attempt to Go ? Slavic Review, 53 (1), pp. 173-185.
- Schmitter, Philippe and Terry Karl (1995). From an Iron Curtian to a Paper Curtian: Grounding Transitologists or Students of Postcommunism ? Slavic Review, 54 (4), pp. 965-978.
- Shevtsova, Lilia (1999). Yeltsin's Russia. Myths and Reality Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Skilling, H. Gordon, and Franklyn Griffiths (eds.) (1971). Interest Groups in Soviet Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Skocpol, Theda and Margaret Somers (1980). The Use of Comparative History in Macrosocial Inquiry. Comparative Studies in Society and History, 22 (2), pp. 174-197.
- Solnick, Steven (1998). Stealing the State. Control and Collapse in Soviet Institutions. Cambridge,

MA: Harvard University Press.

Solnick, Steven (1999). Russia's «Transition»: Is Democracy Delayed Democracy Denied? Social Research, 66 (3), pp. 789-824.

Stepan, Alfred (1999). Russian Federalism in Comparative Perspective. Post-Soviet Affairs, 16 (2), pp. 133-176.

Stoner-Weiss, Kathryn (1999). Central Weakness and Provincial Autonomy: Observations of the Devolution Process in Russia. Post-Soviet Affairs, 15 (1), pp. 87-106.

Treisman, Daniel (1998). Dollars and Democratization: The Role and Power of Money in Russia's Transitional Elections. Comparative Politics, 31 (1), pp. 1-21.

Tsygankov, Andrei (1998). Manifestations of Delegative Democracy in Russian Local Politics: What Does It Mean for the Future of Russia ? Communist and Post-Communist Studies, 31 (4), pp. 329-344.

Vanhanen, Tatu (1997). Prospects for Democracy. A Study of 172 Countries. London: Routledge.

Volkov, Vadim (1999). Violent Entrepreneurship in Russia. Europe-Asia Studies, 51 (5), pp. 741-754.

Wedel, Janine R. (1998). Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe, 1989-1998. New York: St.Martin's Press.

Weingast, Barry (1997). Political Foundations of Democracy and Rule of Law. American Political Science Review, 91 (2), pp. 245-263.

Whitefield, Steven and Geoffrey Evans (1999). Class, Markets and Partisanship in post-Soviet Russia: 1993-96. Electoral Studies, 18 (2), pp. 155-178.